

**В. В. РОЗАНОВ****50 лет влияния****(Юбилей В. Г. Белинского — 26 мая 1898 года)**

26 мая 1848 года «вешние воды» Петербурга прорвали и унесли последние частицы сил, которыми цеплялся за землю Белинский. Ни к кому так не идут, как к нему, последние страницы «Рудина»:

«...И масла в лампаде нет, и сама лампада разбита, и вот-вот сейчас докурится фитиль. Смерть, брат, должна примирить...

— Ты, я уверен, однако, сегодня же, сейчас же готов опять приняться за новую работу.

— Нет, я устал теперь. С меня довольно.

.....

Они обнялись в последний раз, Рудин вышел, а Лежнев сел к столу писать к жене письмо. Между тем на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завыванием, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок. И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам».

Белинский есть основатель практического идеализма в нашем обществе. Были люди столь же чистые, как он, душою, но прошедшие незаметно, в тиши, трудившиеся около маленького дела, в стороне от больших дорог истории; другие были люди несравненно обширнейшего, чем у него, образования (славянофилы, Тютчев) или глубокомыслия (Достоевский, Толстой); есть фигуры, необыкновенно красиво сложившиеся (Карамзин, Тургенев) и, так сказать, стоящие неувядаемым перистилем<sup>1</sup> в портиках истории. Но чье еще имя назовем, кто пробегал бы по этому портику таким живым дыханием, неугомонным ветерком; чей звучный голос так долго, заметно и иногда властительно звучал под его сводами и волновал чистейшим волнением чистейшие сердца? «Удивляюсь я: в какой бы глухой городок я ни заезжал, везде я находил, что среди играющих в карты клубских завсегдатаев, сплетен, всяческого сора есть группа не принимающих никакого в этом участия светлых голов: они все — восторженные почитатели Белинского»<sup>2</sup>. Эта запись Ив. Аксакова, ездившего в пятидесятых годах изучать малороссийские ярмарки и отметившего влияние скорее неприязненного ему писателя, могла бы стать лучше надписью на могиле Белинского.

Основатель практического, жизненного, житейского идеализма. Удивительно, как все соединилось в Белинском для полноты этой

миссии. Он вышел в жизнь с тощеньким «чемоданчиком», да и тот где-то на перекупках «отрезали». Он был один, совершенно один: только светлая голова, только руки; кровь — если позволительна; гипербола — температуры 100°, и пульс 200 ударов в минуту. Характерно; и очень важно, и почти нужно было в провиденциальных целях, что ему не дали доучиться в университете и он «выбыл» чуть ли не «по неспособности». Совершенно один, и никакой материальной, вещественной, формальной поддержки, хотя бы даже в виде пустыньского диплома. Только человек, только его душа; «веяние» «ветра Божия...». Очень неприятно было читать его переписку с невестой, года два назад напечатанную, где он требовал от нее, чтобы она приехала к нему в Петербург: «Обвенчаемся тихо и пешком пойдем домой»<sup>3</sup>. Неприятная черта здесь была в каком-то непонимании его, что у девушки или у ее родных есть свои привычки, предрассудки, требования, которые любящий человек мог и, конечно, должен был уважить. Да, «должен» — здесь, на земле, в формальных границах, в которых все мы живем. Но тайна Белинского и сущность его души, его миссии и была совершенная несвязность ни с какими формами быта, практики: в чистейшем веянии, и не «по» земле, а «над» землю. И это отношение к невесте, так мучительно не хотевшей огорчить своих родных, поражает нас в Белинском жестокостью и грубостью только при первом чтении писем; позднее, взвешивая их и относя к цельности его исторической фигуры, невольно говоришь: «Так все и должно было случиться, как случилось»; «конечно, Белинский не мог и даже не должен был сидеть на свадебном ужине». Никакого «быта», никаких «нравов».

С отрезанным «чемоданчиком», он жил где-то еще «на антресолях». Когда разыгралась история с чаадаевским письмом, в напечатании которого Белинский принимал самое деятельное участие, — упоминается, что он «в это время жил у Надеждина, в мезонине».

О чем, бишь, «Нечто»?.. Обо всем...

— эта характеристика литературного «employs»\*, которую делает Репетилов, в своей неопределенной зыбкости и, так сказать, неуловимости, очень точно выражает, если ее переложить на материальные знаки, неуловимость и зыбкость внешнего положения Белинского. Нет в нашей литературе еще человека, который, лежа на гребне исторической волны, и так долго, так видно лежа, — годы, десятки лет взмахивал бы только своими тощими руками, без малейшего «своего» под ним суденышка. Не только он был один, но он всегда был неприютен; он уже вел за собою огромную толпу — ибо Грановский, Герцен, В. Боткин, собственно, все

\* Профессия (фр.).

лишь дополняют и разнообразно продолжают образ Белинского, без специфического и нового, оригинального в себе значения; но, как видно по письмам его о Краевском и Некрасове, внешним образом он все еще оставался среди них каким-то неустроенным *studiosus*’ом\* — с влиянием, простирающимся на всю Россию, и без уверенности, не ожидает ли его дочерей безысходная нужда. (См. его письма, исполненные страха за семью, перед смертью.) Все это сплело ему терновый венец — при жизни; но на расстоянии времени все это как-то увеличивает блеск его имени и опять нужно было для полноты его исторической миссии. «Дух веет идеже хочет». Нужно было, чтобы «горение» Белинского до конца осталось только «из себя» горением, чисто «человеческим», «духовным», почти без примеси извне подбрасываемых «дров».

Что же сделал этот одинокий и неприютный человек, не имевший «места» в обществе, «нуль» в государстве, «пасынок» университета, «пловец в море житейском»? Все идеальное, что есть в этом обществе, есть в университете, частью даже в государстве, — он безмерно возлюбил. «Шелуха» практического бытия своего народа, «отброс» его текущих дней — он возвеличил, поднял, призвал всех вкушать от всего, что есть «съедобного» в зерне, его так мало заметившем и приютившем. Деятельность Белинского не исчерпывается одной литературой в ограниченных и сухих ее рамках: в 12 томах солдатенковского издания его «Сочинений» есть, собственно, полный очерк нужного и ценного в жизни, «искры», «огоньки», брошенные во все углы человеческого обихода. Он именно все «светлое» возлюбил и ко всему ему, в полном очерке, возбудил надолго светлые и именно практические усилия. Нельзя не отметить именно «практического» его влияния. «Смакователи» эстетики в 40-х годах и позднее вовсе не имеют своим родоначальником Белинского, в фазе его поклонения Гегелю и Гете; они все относятся генетически к более пассивным натурам его времени — В. Боткину, Грановскому, Кудрявцеву, — к тем, которые «говорили», и не к нему, который «кричал на крыше»\*\*. От него пошло именно идеальное в практике, как и он сам был чело-

\* Учащийся, студент (*лат.*).

\*\* Нельзя не обратить внимания на то, что, уже став «литературным авторитетом», Белинский не выпустил из-под пера своего ни одной «отчеканенной» строчки; т. е. что цели литературной «чеканки» и, следовательно, какого бы то ни было литературного *emploi*, «положения», и даже литературно-исторической «по себе» памяти, — не входили никакою долею в круг его забот и внимания. Из его частных писем, — за опубликование которых общество особенно должно быть благодарно г. Пыпину, многие выше по форме его статей, и, во всяком случае, они «все сливаются с “Полным собранием его сочинений” без границы, между ними проходящей».

век, который сейчас же бы променял слово на всякое открывшееся возможное дело; от него пошли те незаметные «чиновнички», «учителя», «семинаристы» по глухим провинциям, о которых упомянул в письме своем Аксаков. Он, если позволительно так выразиться, зажег идеализм в «рабских» слоях нашего общества и надолго сделал невозможным обратное впадение этих слоев в «вино» и всяческую житейскую «грубость». Зажег свет в глыбе земли, и никогда или долго эта глыба не сделается у нас опять бесформенною, бессмысленною «землею», т. е. он и его сочинения внесли ласку в отношения учителя к ученикам; добросовестное делание своего дела судьейским секретарем; из семинариста сделали приветливого и вдумчивого в свою паству священника; везде они разошлись по России лаской, мягкостью, честностью; немножко — мечтою, но на той прекрасной ее границе, где она нисколько не мешает делу и только согревает его, облегчает его, улучшает его. Вот что как огромный и прочный факт дал России Белинский.

Это есть главное, и около него все остальное, т. е. частное, предметное содержание его критических работ, уже образует веростепенность.

В последние десятилетия прошла в нашей литературе тенденция поставить впереди его других критиков и также — осудить его за последний период его деятельности, когда он «изменил прекрасному». Ну, эта «измена»-то и текла из «прекрасного вообще» в его душе, что отогнало в сторону «прекрасное» в узком и стесненно-ограниченном «слове». Прекрасно «думать прекрасное» и еще прекраснее его «совершать»: против этого какой же «книжник» что-нибудь скажет. Но обратимся к его предполагаемым заместителям. Справедливо, что Добролюбов был утонченнее (неврознее) и потому сильнее Белинского; женственнее\* — и «потому страстнее, владычественнее его; но его деятельность, превосходная по растрачиваемым силам, была уже и одностороннее деятельности Белинского, — пусть в избранном русле и глубже; и она была гораздо более груба и материальна по целям, движению, объектам

---

\* Черта, на которой мы упорно настаиваем. Есть ряд писателей — напр., у нас Карамзин, Лермонтов, во Франции Руссо — с ярко выраженным женственным сложением в душе; такие писатели все оставили глубокий след после себя, что-то заражающее; и в их лице какие-то как будто «кормилицы» прошли в истории, с напоющим «молоком». Еще примеры: Ломоносов, Пушкин — типично мужские души, удивительно слабой заразительности; из двух наших народных поэтов — Кольцов явно мужской консистенции, Никитин — женственной. Стихотворение «Вырыта заступом яма глубокая» — типичный женский «надмогильный плач».

усилий». Тот дух еще мягкого, человеческого, рокошущего протеста, которым под самый конец не столько заострилась, сколько стала тревожиться деятельность Белинского, — этому духу, окунув его в холодную воду своего стиля, Добролюбов сообщил закал стали. Слово вдруг стало резаться, когда с ним прежде играли, и очень многие хотели бы вечно играть. Далее, Ап. Григорьев был, конечно, осторожнее и дальновиднее Белинского в суждениях; также его преемник в критике — Н. Н. Страхов. Но ведь тут много значит эпоха; накопившийся опыт фактов и психического развития. Когда появлялись «Рудин», «Отцы и дети», «Театр» Островского, «Война и мир», «Преступление и наказание» — то с этими произведениями вся Россия зрела, и также созревали критики; в кудрявую юную шевелюру общества падал первый седой волос. Белинский только не понимал (напр., «народного» и «простонародного») того, чего вовсе не было в его время; а Ап. Григорьев или Страхов поняли и охватили то, чего было с избытком в их время. Следует добавить к этому, что славные и ставшие знаменитыми воззрения этих критиков — напр., на «смирный» и «хищный» тип человека — лишь немного времени спустя после их смерти кажутся ужасно, преждевременными. «Л. Толстой в “Войне и мире”, этой прекрасной хронике русского семейства, продолжил далее типы “Капитанской дочки”; он указал на простое и доброе и уничижил “хищное”» (слова и вообще точка зрения Страхова)<sup>4</sup>. Но ведь он: «простым и добрым» разворачивает всю нашу цивилизацию; «закусив удила»: и когда же приходило в голову Пушкину сделать такое употребление из мирных обитателей Белогорской крепости? Нет, тут не то, и даже вовсе не то, что предполагали и предвидели оба эти критика. Т. е. вовсе не тот смысл имеет русская литература: не вечного пейзажа, «смирненно-мудрого» «перебеления бумаг» и почтительного «отдыха на могиле своих предков». Но мы отвлеклись...

Белинский все любил издали, и потому все, облитое им любовью, облито особенно страстно. Гончаров в обширной статье, посвященной его памяти<sup>5</sup>, прекрасно и точно указывает, что он был очень образован, имея необходимость прочесть такое множество и столь разнообразных книг; но, при его глубокой деликатности, «неоконченный курс» сказался вечным предположением о каких-то таинственных глубинах науки и философии, коими обладают его друзья, «окончившие» — Герцен, Бакунин, Кудрявцев, Тургенев. Он вечно спрашивает и вечно учится. Характер вечной попытки научиться, «просветиться», носят и его статьи, и именно этим «учащимся» своим тоном, тоном безмерно пытливого и недоверчивого к себе ученика, — они и производят такое заражающее действие;

от этого течет их воспитательное значение. Далее, в обществе и государстве он был «отброс», «studiosus»: само собою разумеется, что он не мог проникнуться тем специфическим неуважением к «людям нашего круга», которым пылает Л. Толстой; ни тем специфическим неуважением к «племянникам министра», переписку коих живописует всю жизнь возвращавшийся среди министров кн. Мещерский. В прекрасные — истинно прекрасные — «антресоли» ничего отсюда, из этой «кухни» государственно-социального строительства, не доносилось; и «смотря на небо», обоняя «свежий воздух» 5-го этажа, Белинский сохранил почти до самого конца беспримесно-книжный теоретический идеализм. Отсюда некоторые трогательнейшие его письма, напр<имер> к одному другу-юноше на Кавказ, с длинными и сложными увещаниями никогда не роптать на начальников и вообще принимать же в расчет, что при огромной исторической работе «иногда» государство и не может не ошибаться или даже и не «подавить» человека. Отсюда его «Бородинская годовщина», так возмущившая особенностями своего тона его приятелей, «служивших».

От этого та доля отрицательности, какая есть у Белинского, не сложилась ни в какие узкие и определенные отрицания; разделение между «светом» и «тьмою», какое есть у него и должно быть у всякого писателя, легло чрезвычайно правильною чертою между «просвещением» и «грубостью». Он от «Литературных мечтаний» и до последних годовых обзоров текущей литературы остался неумолчным борцом за свет вообще «идеи» против грубости косной «глины», «красной земли», где еще не веет «дух Божий». Его миссия и значение совокупности его трудов есть «обще»-просветительное и высоко-«просветительное», без частнейших устремлений или с устремлениями менявшимися и, следовательно, в изменчивости своей, сохранявшими лишь общий характер порыва к свету. Он не уважал «Горе от ума» за его публицистический характер, и он преклонился перед Гоголем за то, что тот «обличил Россию»; он написал «Бородинскую годовщину», и он же написал известное «Письмо к Гоголю» по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями», которое можно назвать порнографиею России; он преклонился перед «равнодушием к действительности» Гете и прославил Пьера Леру за страстную (в идеях и требованиях) переработку действительности. Очевидно, эти противоположности срывают значение друг у друга; не в них — важное у Белинского; важно и вечно, что в каждую минуту бытия своего он горел к лучшему и что лучшее это было для него «умственный», «духовный», «образовательный» свет против косного лежания, против великой оцепенелости его родины.

Тут мы опять вспоминаем, в сущности, очень важный эпизод его с невестой. Граница, за которую не простирается значение Белинского, лежит в книге. Весь «умственный», «духовный», «образованный» свет, за который он боролся, — шел из книги, без всякой примеси к нему «самосветящихся земляных частиц». Их впервые подняли позднейшие и гораздо более могущественные, чем он и все его окружение, писатели — Л. Толстой особенно рельефно и понятно и еще утонченнее и глубже — Достоевский («святая» карамазовщина); менее понятно и доказуемо Гоголь, Лермонтов. Из какой «книги» идет свет Платона Каратаева (в «Войне и мире»), Сони Мармеладовой — в «Преступлении и наказании»; это вещее восклицание Гоголя: «Скорбью ангела некогда загорится русская литература»<sup>6</sup> — и почти непонятные его словечки, но, собственно, вдруг становящиеся понятными при взгляде на Достоевского, Толстого: «У — Русь! чего ты хочешь от меня? какая непостижимая между нами тайтиса связь?.. Что глядишь ты так, и все, что ни есть в тебе — обратило на меня полные ожидания очи?.. И, еще полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями... Какая сверкающая, чудная, незнакомая даль... Русь!» Какое, казалось бы, дикое восклицание: что общего с Чичиковым? Но как оно понятно около смерти «Смерти Ивана Ильича» и множества-множества строк, даже страниц у Достоевского:

«Постигнуть я притом не могу, Алеша, как иной высший даже сердцем человек, и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с таким павшим идеалом в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Черт знает что такое, даже, вот что... Ужасно, что это одновременное совмещение не только страшная, но и таинственная вещь; тут — дьявол с Богом борется, а поле борьбы — сердца людей. Широк человек, слишком широк, я бы сузил». Почти можно продолжать Гоголем: «Что пророчит сей необъятный простор; и грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силою отразясь в глубине моей; неестественною властью осветились очи... у, Русь». Тоны странно сливаются, и в строки одного писателя можно вплетать строки другого, не разрушив единства лица писавшего. Эти писатели, как мы выразились, — «светоносно-земляные», начали, собственно, совершенно новую эру в нашем развитии, и деятельность Белинского, весь «книжный» ум его и его окружения (люди «40-х годов» и теоретики 60-х) просто перестали «быть» для всякого, кто умеет вчитаться и вдуматься в этот существенно новый и гораздо более могущественный свет. Но ведь и вообще эти писатели уже выводят нас за рубрику всего

«Петровского цикла», «Петербургского теоретического существования» и ведут в очень неясные, но существенно новые «миры».

Умственное наследие Белинского уже подернулось археологической ветхостью; как несколько принужденно мы читаем теперь и его современников — В. Боткина, Герцена, Грановского. Все это

...пленной мысли раздраженье<sup>7</sup>

не волнует нас и сохраняет лишь исторический интерес. Белинский, дав необозримое множество литературных разборов, сохраняет более классное значение, т. е. для класса, для «учащегося» вообще, и в жизни каждого из нас он захватывает влиянием отрочество, юность и вообще годы нашего ученического «странствования». Соответственно этому и в обществе ему принадлежат, т. е. ему еще подчиняются, умственно-средние и низшие слои. Но от этой стареющей и почти старой ноши, которую он несет с собою, должен быть строго отделяем сам несущий. Белинский есть не только «писатель»: он есть «лицо», и как «лицо» он так же светит сейчас, как и в вешнюю пору сороковых годов. Ничего не умерло в чертах его нравственного образа, и в них он несет столько значения, что стал вечно нужным, существом, «двенадцатым» гостем среди всяких 11 «пирующих» или «труждающихся и обремененных». Всякое дурное дело имеет, сверх упрека от живых-честных, еще и упрек от мертвого, Белинского; и всякое доброе дело, сверх похвалы от живых добрых людей, имеет похвалу и от него. Он — соучастник нашей жизни как нравственное лицо; он вечно жив между нами и даже более: в нем все те же «100° температуры», «200 ударов пульса в минуту», — и он нас спрашивает: «Живы ли вы?»

\* \* \*

Была, кажется, попытка поставить ему памятник<sup>8</sup>; мы не «за» «медную хвалу», слишком холодную. Кстати — русские типично не скульпторы, и у нас вовсе нет живых, жизненных, «говорящих» памятников, т. е., можно думать, этот способ посмертного воздаяния не «рвется» из русской души, не выражает ее любящих припоминаний. Кажется, характер русского «подвига» не вяжется, не связывается в один узел с «бронзой» «стоящей», — и некоторым у нас драгоценнейшим людям, напр<имер> Киреевскому, да и тому же именно Белинскому, просто нельзя, не приходится на ум «воздвигнуть» памятник, соорудить «мавзолей»... Иная гамма у нас «чтимого», «припоминаемого» подвига. Теперь «памятник» есть или, точнее, стал у нас символом признания за человеком «всероссийского»

значения: что «отечество» вот признает и «увековечивает»... Время его постановки обыкновенно совпадает с совершенным выходом человека, напр<имер> писателя, из «живой памяти, из волнений сердца; и, собственно, это есть символ того, что, при умолкнувших страстях, «уста» уже «шепчут имя», не различая его точного значения и содержания; и слишком понятно в этом случае, что его начинают тогда шептать «уста всей России». Поэтому «преткновение», которое встретила мысль постановки Белинскому памятника, есть символ, что около него еще бьются сердца, волнуются страсти; что он более жив, чем мы определили выше. Тут, без сомнения, аберрация, и как положительные, так и отрицательные движения около «проекта памятника» идут, можно предполагать, в «училищных» слоях нашего населения.

За XIX век фигура Белинского, в своем смирении, бесформенности, одухотворении, есть, конечно, одна из самых видных; и с его 50-летним живым влиянием не может быть поставлено в ряд влияние, напр<имер>, Карамзина, который, как только умер, сейчас же стал «монументом», нечитаемым. Но, повторяем, мы не за «медную хвалу» и также не за переименование улиц, что стало входить у нас в употребление, — «Пушкинскую», «Глинкинскую» и проч. «Улица» имеет свой быт, нравы, мудрость и поэзию: это народное достояние, с тем «крестным именем», в какое окрестил ее безыменный «поп»-народ. «Память» каждого человека нужно индивидуализировать, т. е. особенно, заново, по-новому чтить каждого входящего «углом» в храмину духовной или вообще житейской истории. Белинский так нуждался при жизни; умирая — так страшился за будущность детей; всю жизнь он работал на просвещение — «нес крест просвещения» в духовно-косной стране; просвещение тех времен, признав его «неспособным к продолжению курса учения», — сделало такой промах непонимания против «вверенного его заботам» ученика. Вот черты, которые уже слагают особенности его «памятника». Почему бы не сделать из потомства Белинского некоторых постоянных пенсионеров так обязанного ему образования; т. е. что каждый мальчик и девочка, указующие его имя в составе своих предков, имеют от элементарного и до высшего: раскрытыми перед собою (бесплатно) двери всех учебных заведений; а при возможной нужде — имеют и готовый в них «кошт». Это так просто и так отвечало бы особенностям его заслуг.

